

Всю обложку вышедшей года спустя после смерти Вячеслава Терентьева третьей его книги «Звёздный свет» занимает любительская фотография, на которой он, бывший студент иныаза, просматривает «L'Humanite». Читающим по-французски не может не броситься в глаза анонс, выделяющий на первой странице одну из публикаций номера: «Les suicides d'Amiens» («Самоубийцы из Амьена»). Конечно, это случайность, что в руках Вячеслава, когда делался снимок, оказалась газета с таким «гвоздевым» материалом. Тем пронзительней символика этого фотопортрета: запечатлённый на нём через несколько лет повесится в одном из нефтедобывающих посёлков, куда его занесёт всегдашняя неприкаянность. До тридцати пяти оставалось полтора месяца.

Одарённый стихотворец, уверенного пера газетчик, обаятельный эрудит, владевший французским и немецким, фонтанирующий фантазиями, доброжелательный к другим — и, одновременно, по свидетельству тех же других, бродяга, лишённый внутренней дисциплины, изгнанный из института, не расположенный к постоянству ни в работе, ни в семейной жизни, алкоголик, способный оттолкнуть от себя непрезентабельным видом и развязным поведением. Кто о нём ни вспоминает (таковых, правда, немного), непременно заводит речь про эту контрастность.

Его юность прошла в Свердловске. Тогда, в 60-е, никому не приходило на ум вести речь об «уральском поэтическом движении», какое так энергично позиционирует себя ныне, хотя стихописанием по обе стороны Каменного Пояса увлекались ничуть не меньше, чем теперь. Просто «железной страны золотая пора» (Евгений Блажеевский) благоволила сочинительству всюду, и эта версификационная активность не выглядела региональной литературной аномалией: едва ли не в каждом областном центре возникали творческие объединения — при журналь-

ных и газетных редакциях, местных отделениях Союза писателей, библиотеках, вузах.

Хватало таких и здесь. Центром молодёжной литературной жизни Свердловска стал организованный при газете «На смелу!» клуб имени одного из её редакторов — Михаила Пилипенко, автора стихов известной всем и ныне «Уральской рябинушки». Вячеслав Терентьев был вхож в этот круг, являвший собой, по оптимистической формуле Андрея Комлева, «заманчивую будущность Свердловска», и среди в нём первых — после Владимира Дагурова и чуть прежде Майи Никулиной — выпустил на излёте «оттепельной» поры собственную книжечку. Меньше ладони, вместившая три с половиной десятка стихотворений, жизнерадостным пафосом и экспрессивным образным языком она была характерной для того времени. Показательно, что открывался сборник единственным у автора опубликованным в столичном журнале («Молодой гвардии») текстом с восклицательным названием «Счастливо, парни!»:

*Им,
верящим в свои надежды,
самозабвенно молодым,
рюкзак,
почти как часть одежды,
привычен и необходим.*

Проведший после школы не один сезон в геологоразведочных партиях, Терентьев и сам, как вспоминает руководитель «пилипенковского» клуба Светлана Марченко, «всегда ходил с линиялым мешком-рюкзаком на плече, бытуя по принципу “всё моё ношу с собой”». При этом основным содержимым этой ноши были, по хлебниковски, блокноты и тетради стихов.

И в этих стихах — а писал он легко и много — сквозь инерцию «готовых слов», в очередной раз славящих весну, что «фейерверком врывается в строчки», и убеждающих, что «только сущее достойно удивленья и любви», пробивается живая интонация того, кто дорожит масштабной первозданностью открывающегося перед ним мира:

*И кажется,
что эта синева,*

*что это солнце,
эти сосны красные
самой весной
слагаются в слова,
неслыханные,
чистые,
прекрасные.*

А вот, по сути, о том же, но уже через спортивную метафору:

*Рассвет на ходу зашнуровывал бутсы,
чтоб солнцем пробить над воротами сна.*

Да, многим тогда (молодым — особенно) грезилось, что и впрямь «медленная ночь сдаётся, наконец» (Борис Марьев). И вместе с тем, доверяя не столько политической интуиции, сколько поэтической эмоции, стихотворцы, приветствуя обещающую «добрый свет» и «солнечный ветер» пору, начинали догадываться, что она — недолговременна. Не потому ли в терентьевских стихах тогдашних уже лет (остававшихся, правда, в том самом рюкзаке) начинает звучать тревожная нота, которая обозначится то как «ненавязчивая печаль», то как «лёгкий вкус досады», то как «начало стыда»:

*И стало жаль и самой малой малости
того, что нам собрать не удалось.
Конец весны,
а не начало старости,
но что-то напряглось
и порвалось,
и проступили признаки усталости,
и к горизонту подступила злость.*

И даже если в стихотворении запечатлевается природная идиллия:

*К самой-самой воде наклонилась ветла,
и вода под ветлою тиха и светла*

<...>

*Влажной дымкой над речкой
струится покой.
Вот ведь день удался
погожий такой, —*

всё равно остается ощущение, что миг этой безмятежности — краток и что большинство дней — иной совсем погоды.

Ещё недавно поэту казалось, что «не так уж плохо жить на белом свете», но всё чаще стали возникать и скорбные осенние пейзажи («Опять за окном желтизной берёзовый траур по лесу»), и отрезвляющие констатации («...мир как праздник. Только праздник детский. А мы не дети и уже давно»), и предостерегающие самонаставления («Убереги рассудок от распада...»). И если приглядеться к датировке стихов в его последних двух книгах, составленных Андреем Комлевым, продолжившим заботиться о своём старшем товарище и после его ухода, то нельзя не заметить, как мировосприятие автора очевидно драматизируется. Чувствовал это и сам поэт, оттого и терзался вопросом: «Откуда эта тяжесть? Неужто сердце начало стареть?»

Конечно, он сознавал неумолимость времени, существенно корректирующего юношеские грёзы: «В ночную даль от нас уходят дни, / уходят из когда-нибудь в когда-то...» Не без восхищения писавший: «С европейской причёской на глобусе дремлет Россия, / азиатское тело закутав в леса и меха», — поэт стал понимать и с учётом личного опыта, что живёт «в большой разборчивой стране, / неласковой к своим поэтам лучшим». Да, «в маленьком тёплом сердце / могущественной державы / свирелька грустила тихо, / сама не зная — о чём».

Ольга Седакова в одном из опубликованных писем пронизательно заметила, что исповедальная лирика не то чтобы старит пишущего, но рано даёт почувствовать груз возраста. Но и перемена общественного климата тоже провоцировала эту раннюю усталость.

Честный перед собой в большей степени, нежели перед другими, Терентьев не мог не предъявлять счёт и к себе самому, когда ставил диагноз: «Мой самый старый враг, моя болезнь». Его вдова, Любовь Новак, в стихах, написанных ещё при жизни мужа, солида-

ризируется с этим объяснением: «Он в себе заблудился — хмельной поэт». Алкоголь, к которому Вячеслав рано пристрастился, и стал для него той самой, пусть иллюзорной, перемычкой между почвой и небом, которую поэт, по слову одного из его ровесников, искал и не мог найти. «Ему вредна захлопнутая дверь / на всех замках, за-совах и щеколдах», — а водка наделяла ощущением, хотя и минутным, внутренней свободы, оптимизировала душевный настрой, неизбежно потом оборачиваясь очередным приступом похмельного отчаяния, когда гранёный стакан мог вызвать горестную ассоциацию с гранёным кладбищенским обелиском.

Однажды он написал: «От всех болезней далью излечусь». С юности питавший «охоту к перемене мест», Терентьев неоднократно пробовал поправить биографию географией. Камчатка, Казахстан, Нижневартовск... «Географии примесь к времени есть судьба», — сформулировано Бродским. Но когда «судьба утратила значение, слова утратили звучанье», и даль «на наждачном ветру» Тюменского Севера той ноябрьской ночью была избрана совсем другая. Бесповоротная.

Тут не было попытки доказать смертью то, что не удалось доказать жизнью. Человек (помните это блоковское?) есть будущее. Будущего для себя он не видел. А развернуть драматизм своей «ничейности» и творческой не востребоваанности в трагедию, где эффект катарсиса возникал бы именно благодаря личностному самостоянию, сил не достало.

Душа не выдержала нагрузки. «От всех больших и маленьких потерь / спастись нас пока не научили». Он не сумел себя отстоять под давлением ставшего к нему, как, впрочем, и к большинству его сверстников, неласковым времени. Дар писать стихи его не оставлял до последнего дня, а вот способность противостоять превратностям фортуны, которым он и сам потакал своей, скажем так, непутёвостью, в середине четвёртого десятка его жизни иссякла.

В стихах, возникших на пороге тридцатилетия, Терентьев сделал беззащитное признание: «Вместо судьбы у меня — одуванчик / да божья коровка, ещё отраженье / в зеркале или заря на витрине». А на исходе 1974 года он уже обречённо спросит себя:

*На что ты надеешься в гиблой ночи,
Оставшийся в зеркале солнечный зайчик?*

«Ночь» фигурирует в каждом втором, если не чаще, его стихотворении. Но в стихах двадцатилетнего Славы «ночной тьмью» оттенялся «звёздный свет». Потом пришло более зрелое понимание: «Я понял: что мне звезда с небес, / когда звезда горит внутри». Когда же тепла и света не стало и внутри, он подтвердил, ошибившись на пять лет в свою пользу, прежде им и предсказанное: «талантливым алкоголиком / повеситься в тридцать лет».

Похоронили Вячеслава на ханты-мансийской земле. Но со временем сквозь тот участок кладбища в Нижневартовске, где находилась его могила, запроектировали строительство железнодорожного вокзала. Перезахоронить прах поэта не сумели. Так что могилы у Терентьева нет. Как, впрочем, нет её у Гумилёва, Мандельштама, Павла Васильева, Бориса Корнилова, Цветаевой. В этом он оказался со своими кумирами схож. Впрочем, как обмолвится в стихах, посвящённых его памяти, Альфред Гольд (1939–1997), «душа не знает пережня».